

Н. С.
ЛЕСКОВ

Избранное



Николай Лесков

Заметки Н. Лескова (сборник)

«Public Domain»

Лесков Н. С.

Заметки Н. Лескова (сборник) / Н. С. Лесков — «Public Domain»,

Содержание

Заметки неизвестного	5
Женское стремление к пониманию причиняет напрасные беспокойства	5
Заметки неизвестного	7
Излишняя материнская нежность	8
Искусный ответчик	13
Как нехорошо осуждать слабости	14
Надлежит не осуждать проступков, не зная руководивших им соображений	16
О безумии одного князя	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Заметки Н. Лескова

Заметки неизвестного

Женское стремление к пониманию причиняет напрасные беспокойства

Жандармская полковница, еще не старых лет, но очень набожная, любила пространно исповедаться и столь была заботлива о своей душе, что всегда в каждый из четырех постов в году говела и каялась на духу отцу Иоанну, о котором писано, как он подвергся слабости и пострадал от случая с разбудившим его канареечным пением. Этот добрый священник все мог переносить, но от полковницы бывал столь утомлен, что, головою крутя, говорил:

– Ну уж бог с ней – такая она паче ума и естества многословная.

Когда же отец Иоанн отошел в лучшую жизнь, полковница целый год была в нерешении: кого из духовенства почесть избранием себе в отцы, и для того у многих испытывала по разу говеть и так дошла до отца Павла, о котором тоже преподано в истории с ассессорским сыном. – Отец Павел всегда был нетерпелив, но в пост от картофельной пищи и свеклы с огурцами часто был еще хуже и тогда исповедовал с раздражением и колко, а та любила все говорить мелко и по институтской привычке все часто восклицала: «ах». Что ее ни спросить или о чем сама рассказывать захочет, все с того своего любимого слева начинается: «ах». Например: «Ах, я ужасная грешница», или «ах, как я несчастна», и тому подобное – что весьма надокучало.

Отец же Павел, видя, что она к нему подошла и поклонилась, прежде всего спросил: зачем она себе одного духовника не изберет и всех переменяет? А она отвечает:

– Ах, я такая несчастная... у меня ужасные нервы, и я не могу привыкнуть...

Отец Павел говорит:

– Это и понятно, если постоянно переменять будете, то никогда не привыкнете.

А она опять:

– Ах, я не могу!

– Почему?

– Ах, это так трудно.

– Трудно потому, что вы все ахаете, а вы не ахайте, а сделайте просто без «аха».

– Ах, не могу, я очень чувствительна. Ах!

– Ну вот опять «ах»!

– Ах, – да я не могу.

– Попробуйте.

– Ах, я уже один раз попробовала и мне было так... ах, ах!

Отец Павел и перебил.

– Один раз, – говорит, – ничего. Один раз ахнуть можно, но постоянно это повторять не для чего.

Полковница гневно его покинула и, явясь ко владыке, принесла на отца Павла жалобу с плачем за ее оскорбление.

Владыка против слез сам подал ей воды, а в чем со стороны отца Павла сделана обида, «того, – говорит, – я не понимаю».

А полковница говорит:

– Ах, боже мой, но я понимаю.

– Так вы скажите.

– Ах, я не могу об этом говорить.

– То как же быть?

– Ах, мне пришла мысль.

– Если ваша мысль хорошая – то исполните ее, а если дурная – оставьте.

– Ах, совсем не дурная! Я вам напишу на листке, что́ я из слов его заключаю, а вы в другой комнате прочитайте.

И получив на то дозволение, написала свое понимание по-французски, а он возвратил ей листок с надписью: «Не понимаю».

Когда все это стало публике известно, то все тоже не понимали, чего не понял владыка: французского ли диалекта или того, что на нем выражено. И из-за этого много произошло, о чем полковница обижалась мужу, но для отца Павла это прошло без больших последствий.

Заметки неизвестного

В последнюю мою побывку в Москве знакомый букинист от Сухаревой башни доставил мне на просмотр несколько старых рукописей, в числе коих находилась и та, которую я нынче представляю вниманию читателей. Она была в старинном корешке, с оклеенными синею бумагою полями и не имела ни подписи, ни заглавия, также лишена была многих страниц с начала и в конце. Но, однако, и то, что в ней уцелело, на мой взгляд представляет немалый интерес как безыскусственное изображение событий, интересовавших в свое время какой-то, по-видимому весьма distinguished, оригинальный и серьезно настроенный общественный кружок.

Засим я предлагаю в подлиннике заметки неизвестного летописца в том порядке и под теми же самыми частными заглавиями, под какими они записаны в полууничтоженной рукописи.

Излишняя материнская нежность

Асессорша, вдова, оставшись с малолетним сыном Игнатием при хороших средствах, все внимание на воспитание его обратила, сохраняя его от простуды и болезней, а также и от всяких бесед и слов несовместных, от которых ум детский растлеваются и узнает о пороках. С той целью к ней в дом никто, ни один мужчина, кроме разносчика и булочника, не входил, да еще вхож был каждое первое число месяца для молебна и назидания духовник ее, отец Павел. Этот был роста высокого, острого понимания и в разговорах нередко шутив. Он в обстоятельства сей своей почитательницы вникал и, оставаясь у нее после молебнов на чае и закуске, скромность и бережливость асессорши постоянно похвалил, но не одобрял, что она так Игнашу взаперти, при себе и одних домашних прислужницах, держит, до того, что он ничего мужескому полу сродного в характере не имел, а стал подобен как бы девчонке, или, лучше сказать, – ни к тем, ни к сем не относится.

А Игнаше тогда шел уже шестнадцатый год, и он еще нигде не учился.

Асессорша же, во всем отца Павла признавая, на этот счет его полезных советов не слушала и против его разных доказательств приводила примеры из своей прошлой жизни. Наичаще она вспоминала, что, состоя в браке с асессором, многое от него перенесла, ибо он имел такое обыкновение, что если с каким-либо просителем запирует, то несколько дней домой не возвращался, а удалялся по разным местам, пел и играл и под органную музыку разные танцевальные па представлял.

Это танцевание асессорше столько в жизни огорчения сделало, и было понятно, что она опасалась, как бы и сын ее по стопам родителя своего не последовал.

Отец же Павел, имея здравое суждение, говорил: «Сударыня, никакого плода дальше его лет не убережешь, а если убережешь, то выкинешь». И указывал ей, что может быть такой слепой случай, когда вдруг юноше нечто необычайное в жизни откроется, и тогда он хуже не узнает, как себя повести, и еще более пострадать может. Но недоумевшая асессорша стояла на своем и отцу Павлу не верила, и так благополучно сберегла Игнашу до двадцати лет и приучала его к хозяйству, водя его с собою всегда по саду и по амбарам, дабы минуты один не оставался. А между тем случай, которого она не допускала, подкрался в самой неожиданности и очень скоро обнаружился.

У асессорши был брат, отставной бригадир и предводитель, с которым она редко видалась потому, что он жил за двести верст в своем имении слишком на кавалерскую ногу и приезда родственниц не хотел видеть, а присылал им дважды в год праздничные подарки холста и материй, по выбору проживавших у него посторонних вольнодомов. Но, как всему на свете бывает конец, то и бригадиру на семьдесят третьем году его жизни пришел черед умирать, и он в преддверии смерти вспомнил о сестре асессорше и прислал к ней нарочного сказать, что он умирает и желает с нею и с племянником проститься.

Случай же, о возможности которого асессорше не раз намекал отец Павел, был насто- роже и устроил так, что перед этим самым временем она, перевешивая полотки на жердях сверху амбара, оступилась и упала с лестницы и столь сильно повихнула себе ногу, что лежала в постели и не могла двинуться, а потому ехать к умирающему брату не могла ни под каким видом. Между же тем она была домовита и вещелюбива и знала, что у брата, кроме недвижимо- го имения, коему уповала быть в своей доле наследницею, были еще многие драгоценности – часы и табакерки с портретами, камнями осыпанные и даренные ему за его храбрость из Каби- нета. И асессорша опасалась, что он те вещи мог по своей слабости раздарить кому-либо из окружающих его женских угодниц его свободной жизни, которые к нему приласкались, или же они, в случае если брат умрет до ее приезда, то сами по алчности своей могут все это расхитить и после сказать: «Ничего не было», или: «Он нам подарил».

В таком размышлении она провела всю ночь без сна, с стесненным сердцем, и к утру решила послать к умирающему без себя Игнашу, с проживавшею у нее верною вдовою капральшею, чтобы он ехал и жил у дяди до самой его кончины и как можно прилежней к нему ласкался.

Утром же велела скоро готовить бричку, а Игнаше с капральшею собраться и вместе с тем послала просить отца Павла, чтобы прямо от обедни пожаловал отслужить «в путь шествующему» молебен и благословить Игнатия на дорогу.

Отец Павел прибыл на приглашение асессорши и молебен в ее комнате отпел, так что и она в постели могла молиться; а когда затем здесь же на столе подали для отъезжающего на завтрак телячью печенку в сметане и пирожки, то отец Павел, кушая с Игнатием, делал ему по материной просьбе внушение, как ему себя вести у дяди.

– Не будь, – говорил, – как дитя: на всякий шаг материного научения не ожидай, ибо ее с тобою не будет, а сам своим умом для себя полезное руководствуй: дядю ласкай, и руку ему целуй, и одеяло поправляй, и лекарство по часам лей и в ложке подноси; а вещей хороших и драгоценных смотри повсюду, где они есть, и их хвали и одобряй, чтобы он понимал, как они тебе нравятся. И про которую тебе вещь скажет: «Это тебе», – ты сейчас ему руку целуй, а вещь к себе уноси и запирай от слуг и вольнодомок. А мало спустя, как он опять в памяти покажется, ты прославляй его заслуги и храбрость, за которые он драгоценности получал в дар, и опять те вещи на вид ставь и хвали, пока скажет: «Бери себе и это». И так ласковым обхождением до самой его кончины обходись. А когда один останешься, то на других говори, чтобы он другим не доверял. Если же один быть не можешь, то встань, будто подушки поправить, и прошепчи. Так можешь все получить, даже и с остатком на мою долю, если совет мой оценить пожелаешь.

И, преподав ему нравоучение, Игнашу благословил, и тот с капральшею поехал; но капральшу, выехав за градскую заставу, из брички ссадил и прислал назад, а сам понадеялся на себя и один поехал. После же кончины дяди он возвратился назад совсем благополучен и с довольными дарами в вещах и в части имения, но на две причины жаловался: первая, что покойный дядя его до нежной к себе ласковости ни разу не допускал и лекарства из его рук не пил, а вторая – мать заметила, что он теперь слабо спит, в постели мечется и во сне губами смочет. И второй этой причины он матери не открывал, отчего это ему сделалось.

Ассессорша, с которою сын прежде был во всем откровенный, не раз даже со слезами просила его открыть: отчего ему стал такой беспокойный сон и смоктанье; но он что-то невнятно бормотал и ничего не открывал. Матери вздумалось, что не пристало ли это к нему что от покойника, или не случилось ли со страха, что смертный случай видел, или от досады, что грубый человек не мог, умирая, ласки его оценить, – и тогда, по всегдашней вере своей в отца Павла, ассессорша и в этом случае призвала его к молебну и потом за закускою открыла, что «вот-де с Игнашею так и так, после езды его в одиночестве к дяде большая перемена: день невесел и задумчив, а ночью с вечера долго не спит, и в постели вертится, и губами смочет»...

– Знаю, – говорила ассессорша, – что ныне даже и духовные волшебствам уже стали не верить. Однако же волшебница самого Самуила из гроба вызвала и Саулу тень пророка показывала, да и в книгах церковных недаром есть молитвы от злого очарования и на отогнания, а потому, так или так, – говорит, – вас прошу и даже уже своими руками вам из своего марселинового платья новый подрясник сюрпризом сшила, но возьмите вы Игнашу в свои руки и выведайте от него всю истину и помогите.

Отец Павел сказал: «Хорошо!» и, приняв в одну руку завернутый в бумагу марселиновый подрясник, другою рукою взял за руку барчука Игнашу и пошел с ним в сад, как бы для осмотра нынешнего года урожая вишен. И тут, остановясь под одним сильно рясным деревом, стал указывать, как много воробьи ягод портят, и от этого вдруг со вздохом перешел к иной порче – как нравы повреждаются.

– Налетит сверху, не зная откуда, словно птаха, и клюет доброе насаждение. Так, может быть, что-нибудь и с тобою сделано?

Игнаша растрогался и от неожиданности только вопроса смутился.

– Точно, – говорит, – отец Павел, было со мною плохое дело, и... может быть... и теперь что-нибудь осталось, и я за грех мой страдаю.

А отец Павел покачал головою и говорит:

– Сделаем-ка вот что: нарви-ка ты мне поскорее хороший лопушный лист вишен, которые позрелее, и особенно воробьиных оклевушков – они всего слаще, и подай.

Тот мигом все исполнил, нарвал лучших вишен и оклевухов и подал их отцу Павлу на большом лопушном листе, как на дорогом блюде. Отец же Павел в траву под яблонею сел и рысу распахнул, а лопух с ягодами в колени поместил и говорит:

– Ну вот, друг мой Игнатий Иваныч, хорошо, а теперь, как мы здесь только двое – ты да я, – и больше никого нет, а над нами бог всемогущий, от него же несть ничто неявлено или утаенно, то будем же мы с тобою как в раю откровенно разговаривать, и ты открой мне как на духу: что такое с тобою встретилось и о чем ты столь сокрушаешься, что даже и мать твою сокрушаешь: ибо она видит, как ты во дни невесел, а ночами беспокойно спишь и губами смокчешь. Я буду в траве сидеть и твоего срывания вишни есть, а ты мне свои тайности обнаруживай, и тебе легче станет.

Игнаша отвечает:

– Я и сам, батюшка, этого очень желаю, но только не хочу, чтобы маменька об этом узнала.

– Она никогда и не узнает. Я тебе в том мое слово даю, а иерейскому слову сам закон без присяги верит. Я уже тебе вперед сказал, что речь твою я принимаю как исповедь, а что на исповеди сказано, то нам открывать никому не дозволено, кроме политического начальства.

– Ну, если так, что маменька знать не будет, то я вам грех свой открою.

– Открывай.

– Ездил я к дяденьке, чтобы к нему перед смертью его приласкаться и получить вещей и наследство...

– Ну, что же такое? Это долг родственности твой был, и в том нет никакого греха.

– Да-с... Вещей я не много получил, а наследства сто душ с усадьбою...

– Ну! Что же ты останавливаешься? Получил сто душ с усадьбою – и это не худо. И тут я никакого греха не вижу; если бы мне дали, то я и сам бы получить такое наследство готов был.

– Вам нельзя, – говорит Игнаша, – духовные крестьян у себя в крепости держать не могут, а только одни дворяне.

– Ну, это ничего не значит: я бы крестьян в шесть месяцев какому-нибудь дворянину за дешевую цену на переселение в безлюдные степи продал, а в усадьбе сам жить стал. Во всем этом греха нет: но вот я уже скоро все вишни поем, а ты мне еще одни, давно мне известные пустяки говоришь, а про грех утаиваешь.

Тогда Игнатий, видя, что надо уже сделать окончание речи, сказал, что видел он у дяди большое стеснение от привитавших у него дам, которые были у него чужие из постоянных гостей, но бригадир их к себе приближал более, чем своих родственников, и из их рук лекарства принимал и их одних к себе сидеть близко у постели заставлял, а его отдалял и даже шутил над ним. При тех же дамах были и другие их родственницы, молодые и старые, и к одной приехала из Москвы молодая акушерница, или бабка-галандка, нрава веселого и смешливая, круглолицая, с бровью и с косым пробором на голове – совершенно как будто красивый мальчик. Эта молодая бабка-галандка при больном скучать не любила, а все отбегала в сад и Игнашу с собою туда звала и там заставляла его себя на качелях качать и горячий уголек ей на трубке для закуривания раздувать. – Когда же бригадир умер и Игнаша домой поехал, то на второй станции ему не дали лошадей потому, что большой разгон был, и он должен был на той станции заночевать. И едва он заснул в первый сон, как послышался шум, и в ту комнату, где он

спал и кроме которой другой не было, вошла та же самая бабка-галандка, которая тоже домой ехала и за недачею ей лошадей тоже здесь до утра должна была остановиться. Тогда она, сняв с себя мантию и верхнее платье, легла спать на другом диване, в одном белом лифе, и закурила трубку. Игнатий же от нее оборотился к стене и усиленно сдремал во второй сон очень недолго и опять к ней тихо оборотился, чтобы видеть – спит ли. Но она не спала и, глядев на него, рассмеялась и поцелуй ему губами сделала. Он же тогда скорее опять заворотился к стене и усиленно искал, чтобы скорее заснуть в третий сон, но не мог этого сделать, ибо слышал, как она, посмеиваясь, губами вроде поцелуев чмокала до самого утра. А когда утром он проснулся, чтобы ехать дальше, то ее уже не было, а он этак же, как она, губами чмокал и доселе с той привычкой остался.

Прослушав такой сказ, отец Павел спросил: не было ли ему все это во сне? Но Игнатий выражал свое твердое уверение, что все то с ним было наяву. Тогда отец Павел, докушав последние вишни, стряхнул с лопуха приставшие к нему некоторые выплюнутые косточки, а лопух положил Игнатию на голову и, прихлопнув по нем ладонью, сказал:

– Молодчина ты – похваляю! И в этот раз ты вышел чист и безгрешен. А теперь держи ты этот лист покрепче на голове и походи с ним, погуляй по аллейке, пока из тебя выйдут последние помышления, а я вернусь к твоей матери и тайны твоей ей не открою, а успокою ее и скажу, как ей тебя от сего избавить, чтобы ты по-прежнему спал крепко и в первый сон, как во второй и в третий.

И, путив Игнашу ходить под лопухом по аллее, отец Павел пришел к ассессорше и говорит:

– Ничтоже вам и сыну вашему, которого вы при себе воспитали. Я его совесть испытал и никакой вины в нем не нашел.

Ассессорша перекрестилась и хотела любопытствовать, но отец Павел ей всего открывать не стал.

– Я, – говорит, – это Игнатию обещал, да и по службе не могу, потому что открытое нам по тайности навсегда ото всех в тайне должно и оставаться, разве как перед одним политическим начальством. Но помочь я вам для успокоения ваших материнских чувств могу и полезный совет вам дам.

Ассессорша говорит:

– Сделайте, батюшка, милость. Я вам к Покрову богородицы гарусный пояс цветами вышью.

– Хорошо, – говорит, – только вы слушайте и все точно исполните.

– Слушаю, батюшка, слушаю и непременно исполню.

– Встаньте вы сами рано утром на заре, когда еще роса на травах не высохла...

– Встану, – говорит, – отец Павел, даже до зари встану.

– Да; и возьмите вы с собою новый серп, такой, которым еще никто не жал.

– Есть у меня в кладовой два серпа новые.

– И выйдите вы с ним одна в сад, и оглядите такую яблоньку, которая кудрявее и чтобы на ней были плоды румяные.

– Есть у меня такая, есть.

– И нажните вы своими материнскими чистыми руками вокруг нее травы, и высушите из нее на солнце пуд сена.

– Все так сделаю.

– И пусть он этот пуд сена съест.

– Кто это?

– Разумеется, он, сын ваш Игнатий.

Ассессорша изумилась.

– Как же это так: разве, – говорит, – он у меня конь?

А отец Павел отвечал:

– Конь-то он у тебя действительно не конь, но осел презрядный.

Искусный ответчик

Секретарь, укоряемый во многом притязании, имел слабость к устройению новых дач и домов и за продолжительное время своей службы обзавелся ими в таком числе, что от его недругов на это было сделано указание новоприбывшему начальнику. Начальник отвечал:

– Хорошо, я его испытаю, и если он меня не убедит, откуда ему все это мимо службы взялось, то тогда поступлю с ним, как надобно.

Самому же доносчику, да и всем при особе своей состоящим и приседящим строго наказал, чтобы ничего тому секретарю даже в самых отдаленных намеках подано не было, о чем ему готовился острый вопрос. И когда секретарь, ничего не зная о преднамеренном, в обычное время предстал докладывать просьбы и доклад свой кончил, вопрошен был:

– Правда ли, что вы посулы от просителей вымогаете и даже вымогательством к приношению вам денег нудите, а без того дел не рассматриваете?

Но секретарь, оком не моргнув, отвечал, что все это чистая клевета, и страшную клятвою именем Божиим поклялся.

– Хорошо, – возразил начальник, – но, во-первых, вам такие клятвы говорить непристойно, а во-вторых, я только тогда словам твоим поверю, когда вы мне объясните: откуда вам взялось на вашем месте пять домов и шесть дач?

Секретарь же, слыша сие, отвечал, что все те дома и дачи и вся яже в них не ему, но жене его принадлежит.

– Но жена ваша всего этого в приданое вам не принесла, ибо известно мне, что она дочь людей бедных.

– Точно так, – отвечал секретарь.

– В таком разе, откуда же у нее взялись такие имущества?

– Не знаю, – отвечал секретарь.

– Как так – не знаете?

Секретарь изобразил собою большую сконфузливость и, пожав плечами, опять отвечал:

– Как вам угодно, а я этого и сам себе объяснить не могу.

– Ну, то могли же бы вы ее о том прямо спрашивать!

– И даже много раз спрашивал.

– И что же она вам на то отвечала?

– Ничего не отвечала.

– Как так *ничего*?!

– Так: я ее спрошу: «откуда ты, душко мое, деньги берешь?» А она только покраснеет, но ничего не скажет.

Начальник посмотрел на сего оборотливого секретаря и добавил:

– Однако ты, вижу, искусный ответчик.

После того секретарь остался на месте, и никто не мог доказать, что он не имеет источника.

Как нехорошо осуждать слабости

Отец Иоанн, хороший священник, любимый прихожанами и опытный благочинный, с молодости своей себя соблюдал в отменной трезвости и жил в самом примерном поведении; но имея уже близу шестидесяти семи лет, лишился жены и подпал другим несчастьям, из которых каждого в раздельности довольно было, чтобы весьма мужественную душу поколебать. Зять его повредился в уме, и дочь возвратилась под отчие кровы с немалою семьею, а сын предался дурным страстям и пошел в актеры. А еще всего более отцу Иоанну принес огорчения и ущерба тягостный лаж, который был объявлен от казны на серебро, через что в состоянии отца Ивана вдруг вышло понижение, так как он содержал все свое у себя в наличных бумажках. И тогда ото всего этого отец Иван стал искать забвения своего горя в вине, которого прежде во всю жизнь свою не пил. Поначалу это новоначатие крылось только в стенах дома, но потом, как беспрестанно беречь несчастного старика было некому, то и посторонним слабость его начала делаться заметною, и, наконец, был в храме неудобный случай, что он, сделав возглас, заснул и не скоро пробудился. Прихожане, весьма его любя, хотели это покрыть, но тщанием отца Иродиона, который себе благочиннического места желал, стало ведомо владыке. Владыка же был строг и не похотел оставить сего втуне, а, призвав отца Ивана к себе, сказал, что для пользы его души, при его преклонных уже летах, от благочиннических обязанностей его освобождает и советует ему читать «Часы благоговения», а для пользы службы на место его назначил отца Иродиона.

Удар этот на отца Ивана самолюбие столь повлиял жестоко, что он, вместо того чтобы читать «Часы благоговения», еще больше стал неосторожен, а когда дочь ему в доме вина возбраняла, то стал заходить с заднего выхода в трактиры, и особенно часто приходил к одному из своих прихожан, трактирщику и с давних пор почтительному его духовному сыну. Этот трактирщик подавал ему своего домашнего приготовления графин на горькой трефоли, и отец Иван ее потреблял со вкусом, и говорил: «Эта горечь для меня отраду приносит, ибо она горечь жизни моей прообразует». Духовный же сын трактирщик священника оберегал от взоров публики и предлагал ему все не в трактирных, а в своих жилых комнатах, не в виде трактирного угощения, а как домашнее хлебосольство. И когда отец Иван был неисправен, он тут же у него на диване отдыхал, покрыв лицо платочком, а семейные из той комнаты даже канареек выносили, чтобы они своим трескучим пением его скоро не пробуждали. Так отдохнув, священник уходил без явного в его состоянии примечания. Но однажды, когда трактирщик и домашние его были по некоторому случаю в развлечении и канареек не вынесли, отец Иван ранее потребного времени пробудился и вышел колеблясь. Но, почитая себя еще сильным чтобы дойти до дому, пошел далее, а когда пошел, то силы его ему изменили и старые ноги его по скользкой осенней грязи стали идти неверно, и он поскользнулся и упал за углом улицы и встать уже был не в состоянии.

По случаю же вышло так, что новый благочинный, отец Иродион, в это самое время с старым причетником Ильком из дома своих прихожан, совершив крещение младенца, возвращались и, увидя отца Ивана в его несчастном положении, злобно улыбнувшись, сказал:

– Какое недостойное зрелище! Смотри на это и будь готов отвечать, что ты видишь.

А причетник Илько, будучи доброго сердца и отцу Ивану по училищу еще товарищ, отвечал:

– Виноват, отец благочинный! я не знаю, что вы видите.

– Я вижу бесчинного срамника отвергшегося благодати своего сана.

– А я вижу горестного несчастливца и благодати в нем отвергать не дерзаю, ибо она неотъемлема, – отвечал Илько, и с сими словами поднял отца Ивана, поставил его к стене и сказал: – Благослови, отче!

Отец же Иван раскрыл глаза и благословил его, а потом, ослабев, лег паки; но Илько пошел к нему в дом и, позвав человека из домашних, отнесли его и прибрали.

Вскоре за сим отец Иван умер, благословив всех, а также и отца Иродиона, отвергавшего его от благодати, и добрые прихожане над могилою его долго служили панихиды, а Иродиона не любили.

Надлежит не осуждать проступков, не зная руководивших им соображений

Иеродиакон немолодых лет, но могучей плоти, первейший бас и в служении искусный, имел страсть к бильярдной игре и однажды в день пятничной на страстной неделе, отслуживши и почитая себя от обязанностей свободным, рассудил за безопасное удовлетворить свое влечение к бильярдной игре. Для того он пришел в заведение, где названному влечению своему мог угодить, и уже позвал трактирного служителя, но служители, как один, так и другой, от игры отказались, сказав, что в такой день не могут. Но в эту пору пришел тут квартальный, и они с квартальным стали играть не на подлаз под бильярд, а на деньги. Квартальный же, верный полицейскому нраву, брать любил, а платить не изволил.

Так и тут пришлось: обнаружил он свою полицейскую низкость и платить не хотел, а стал уверять, что уговор был на «подлаз», а не на деньги, и что он сейчас тот уговор готов исполнить – шпагу снять и под бильярдом лазить. Но дякон этого не хотел и говорил: «Что мне за удовольствие?.. Деньги лучше».

Тогда квартальный потребовал, чтобы в таком разе продолжать игру до его отыграния и за всякую партию выпивать мазу по большой рюмке рому или вина. Дякон, желая свой выигрыш получить, на то согласился, и как он лучше квартального играл, то опять все-таки выиграл, и то, что надлежало ему выпивать, пил честно. Когда же он от выпитых им рюмок мазу охмелел, то, будучи в своем праве, стал круче с квартальным поступать и требовать от него уплаты девяти рублей проигранных денег. При этом завели спор, во время которого неизвестно кто и каким образом весьма старое бильярдное сукно кием подпорол и испортил.

Тогда к спору их присоединился трактирщик, и его трактирные слуги, не смея рук своих на квартального тронуть, весьма смело подняли оные на иеродиакона. Они с наглостью стали уверять, что это, конечно, по их рассуждению, от игры в такой великопостный день, и что вред тот доподлинно сделал не квартальный, а дякон, и он за то сейчас сорок рублей заплатить должен, или если таких денег с ним нет, то они пошлют дать знать монастырскому начальству. А когда иеродиакон сообразил, что это есть подвох и что сукно, давно обновления требующее, вероятно, в спороно некоторым из служителей, от игры за страстным днем отказавшихся, то платить не захотел и, несколько излишне на могучность свою полагаясь, стал их плечами пожимать и сталкивать и сам к двери выхода подвигаться; но тогда все вдруг с азартом на него кинулись, и, после буйственного на него нападения, один, наибольшую военную хитростью одаренный, вскочил на бильярд и с высоты бильярда набросил на фигуру дякона с головой пестрядинное покрывало, так что он очутился как подсвинок, которого мужик заключил в мешок и, завязав, везет на базар, и тот только может визжать, но ничего не видит. Так и его, покрыв, приступили бить со всеусердным ожесточением во все части и, нащупывая, где его глава, за волосы его притягали, и платье на нем порвали, и, руки под пестрядину подсунув, часы с бисерною цепочкою и деньги с кошельком до девятнадцати рублей совсем с карманом из вшивного отверстия изъяли. Словом, так его отдушили и обидели, как оного евангельского, шедшего по пути и впавшего в разбойники. И все это душегубительство они произвели так, что оный несчастный, быв повергнут и придавлен, с покровенной головою, ничего сам не мог видеть: кто именно в какое место бил и что с него совлек, и одно что для своей защиты мог, то сквозь пестрядину зубами кусался. Но бессердечным обидчикам этого страсотерпца и всего того, что сделали, еще мало показалось, а они или, лучше сказать, квартальный (ибо его это была погибельная мысль) такой захотел дать оборот, чтобы еще битый у небитых сам отпущения просил и умолял о покрытии его их ненадежною тайностию, и из этого места откупился.

Так, когда штатские всем совершенным ими над дяконом удовольнились и помышляли уже приступить к метанию между собою жребий о похищенном, квартальный был несёт при-

чиненным и сказал: «Еще не прииде тому час, а призовите мне моих охраняющих солдат, пусть свяжут ему руки и поведут сего буяна, чтобы все видели, и довлеет ему, а там, в монастыре, его сдать на руки, и там ему его священнодиаконство помянется и аксиос ему пропет будет за то, что в такой постный день на бильярде играл и вино пил».

Услыхав же это, диакон стал ротиться и клятися, что он у себя в келье в кlobуке имеет еще сто рублей секретно заделаны, и все их отдаст, только чтобы по улице его яко связня не вели, а с свободой рук отпустили. И штатские хотели его с одним человеком отпустить, которому бы диакон, придя домой, деньги за двери вынес, но квартальный, исполняя недоверия к пострадавшему духовному, сказал: «Нет, он как уйдет в обитель, то денег уже не вынесет и нас обманет, а лучше держите его, и представим приставу, чтобы и тот от сего случая не скуден остался». И, шед вон скоро, привел сюда с собою частного. Частный же, рассмотрев дело и видя диакона присмиренного и весьма потыканного и одертого, понял и погрозил квартальному перстом, а солдатом и штатских выслал, а диакону сказал:

– Восстав, идем отсюда, – и был ему за истинного самарянина: всадил его вовнутрь своих крытых дрожек и повез на своем скоте, а дорогою полезный совет дал:

«Ты, – говорит, – сознайся и факта трактирного не отвергай, но что у тебя будто сто рублей в келье в кlobуке заделаны, не обнаружь, потому что они тебе самому годятся на другой случай, а отвечай смело, и за тебя тот, кому надо, больше заплатит. Я эту необходимость понимаю».

И привезя впавшего в разбойники с собою в обитель, доложил игумену, которому все рассказал и, быв с ним наедине, предложил тому на выбор: оглашению дело предать или дать ему триста рублей на потушение. Игумен же был весьма в правлении опытный и, видя в чем дело и какой может быть стыд, много не говоря, просимые деньги приставу вынес и подал; после чего тот сейчас и уехал, а потом игумен стал диакона укорять и выговаривал:

– Зачем ты в такое место попал?

– Ни для чего другого, как для бильярдной игры, – отвечал диакон.

– Но почему именно в такой великоскорбный день, когда никто не ходит?

А тогда диакон, сам на себя негодуя и видя уже, что все опасное для него за данными приставу поминками миновало, а голос его к служению нужен, робкость оставил и, осмелев, с досадою ответил:

– А вы когда же мне ходить прикажете? В простые дни всякая сволочь мирских людей в те места вхожи, а в такой день, как ныне, мирянин идти не отважится.

Так поступок его хотя непохвален, но рассудливость не почтена быть не может.

О безумии одного князя

В первые века христианства и в некоторые позднейшие годы до нынешнего полного порядка токмо лишь епископы были «мужьями единыя жены», прочие же клирики, как и священники, при случае вдовства не остерегались второбрачия и даже третицею посягали. Тем они избавлялись от соблазнов и подозрения, но притом уже были, как и все прочие, без особого уважения. Впоследствии же, когда христианство в нынешнее совершенное устройство пришло, которое уже никогда не пременится, то упомянутая поблажка в повторении брака замешалась только у лютеранских народов, как немцы, шведы и англичане, имеющие духовенство неполное и безблагодатное. В нашем же восточном исповедании, которое славно между всеми полнотою благодатных даров и имеет все чины духовные, то дабы его еще большею полнотою исполнить, то избыточные правила и установления последующих времен для него еще поощрены возвышениями. Так великий епископский чин у нас совершенно обезбращен, а священники и диаконы токмо единожды до посвящения их в брак вступать могут, и то не иначе как с девою, а не со вдовою. Вдова же, хоть бы как ни была честна, и добротолюбива, и непорочна, но она уже недостойна иметь мужа, готовящегося к получению благодати священства от рукоположения епископа. А посему хотя таковое правило ко благочинию церкви есть весьма необходимое и полезное, но вдовы попов если молодые остаются, то они уже во второй раз за соответственного человека, готовящегося ко священству, никак выйти не могут, а если скукою одиночества или стесненностию жизненных обстоятельств побуждаются вторично искать опоры в браке, то могут токмо в своем духовном звании за дьячка или за пономаря, а в штатских за кого придется. Но это в таких только разгах бывает, если за духовной вдовою есть имение и если она сколько-нибудь для светской жизни образована в отношении разговора, танцев и прочего, что в светской жизни не так, как среди духовенства: иначе же всегдашнее вдовство становится для молодой попадьи ее неминуемою участию, которой ей и должно покориться. Но бывают и в этом безответном и добром сословии непонимающие, строптивые и непокорные, из коих об одной здесь предлагается случай.

Были два священника, оба учености академической и столь страстные любители играть в карты, что в городе даже имена их забыли, а звали одного «отец Вист», а другого – «отец Преферанц», что пусть так в этой записи и останется. Случилось же одному из них, именно отцу Висту, совсем неожиданно умереть, и оставил он шестнадцатилетнюю дочь преприятнейшей наружности и с воспитанницей. А у отца Преферанца был сын богослов, которого лучше любили звать «бог ослов». Он учился в последних и окончил курс с превеликим горем, за старание родителей: ибо был он безо всякой памяти и страшлив до той глупости, что сам не знал, чего боялся, и до возраста самого просил, чтобы его всюду кто-нибудь провожал, а без того не решался. По ходатайству же того самого отца, сему преудивительному трусу было предоставлено место умершего Виста, с обязательством взять в жены ту преприятную красавицу, Вистову дочку. Так это все было и сделано, как начальство усмотрело и признало за благо. Преферанцов сын был обвенчан и рукоположен во священники и священствовал целый год, но по пороку беспамятства никак не мог научиться служению, и всегда его постоянно по церкви водил за руку и учил старый дьячок, хорошо службу понимавший, а в доме им руководствовала жена или ее мать, но обе они не радовались своей власти, а напротив, мать часто жаловалась и плакала, что муж у ее дочери совершенно как несмысленное дитя, всего боится, особливо же в ночное время или когда вспомнит о покойниках, к коим он совсем не мог ни подходить, ни прикасаться, а если отпевал издали, то после долго трялся. И вообще он от страха никогда не засыпал иначе, как чтобы горел огонь и все спали в одной с ним комнате, и жена, и ее мать, и еще кто был в доме, и сам всегда прятался к стенке. Но хотя он во всех разгах, постоянно был осторожен и с провожатыми, но однако, выйдя по одному случаю вечером на крыльцо, зато-

ропился впотьмах и, вообразив что-то страшное, жалобно вскрикнул и упал от ужаса, попав головою на оскребальную скобку, и повредил темя. От этого он сразу всех последних способностей и ума лишился, и целых два года всюду прятался, и только, голодом побуждаемый, мычал как теленочек, когда для того час его пошла настанет. На третий же год он умер и погребен с честью, как по сану его подобало, в ризах, и со святым евангелием, и с крестом, а место его тотчас дано другому. Молодой же вдове сего несчастливца, которой было в ту пору всего только девятнадцать лет, осталось делать что хочет, без всякой помощи. Но у нее был крестный отец советник, и он так этого оставить не хотел, а приехал к архиерею и очень смело стал ему излагать некоторую известную ему тайну, что оставшаяся вдова робкого покойника должна иметь все права как девица и, выйдя вновь замуж, составить свое и мужнино благополучие: ибо долгое ее терпение с тем покойником одно превосходство ее сердца и характера показывает. Для этого он просил владыку возбудить ходатайство о дозволении ей удержать место за нею как за девицею; но владыка сказал: «Как подобное ранее не предусмотрено, то и не стоит, да не молва будет в людех». Этот любопытный случай, быть может и еще когда-либо возможный к повторению, однако не остался в совершенной сокровенности, и именно – прокрался в молву. Овдовевшая же, оставшись в горестной нужде и еще к тому же мать при себе имея, ни за дьячка, или мещанина, или однодворца чтобы выйти замуж ожидать не захотела, а пристала к хору поющих цыган, проезжавших тогда в Курск к перенесению иконы пресвятая владычицы Коренския, честного ее знаменья. Цыгане же, за приятный и чистый голос той женщины, приняли ее в свой табор и хорошо ее и ее мать содержали, но как молва о ней была известна, то она прозвалася от всех в хоре «*мадемуазель попадьа*», и жила в Москве на Грузинах, и была очень славна своим пением, и потом вышла замуж за богатого князя, который ни за что бы на ней не женился, если бы она была вдовая попадьа, а не свободная цыганка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.